



К. И. ЧУКОВСКИЙ

Пфуль

М. Горький: «Городок Окуров». — «Матвей Кожемякин». — «Исповедь»

Говорят, что Горький будто бы кончился, а между тем его последний роман гораздо лучше и серьезнее предыдущих, — и уж, конечно, выше «Фомы Гордеева», где все, даже ростовщики и пьяные девки, непременно говорят афоризмами.

В последнем романе Горького изображается русский уездный город. Жители этого города только для виду занимаются какими-то делами и ремеслами, главное же их и даже единственное занятие — пинки, потасовки, подзатыльники. Очень картинно выходит у Горького, как матери колотят дочерей, свекрови — снох, мужья — жен, офицеры — солдат, и даже влюбленный Ромео сечет розгами свою Джульетту «до обморока вплоть».

У нас жены все Матрены,
Кулаком рожи крещены! —

так и поют о себе жители этого города. Их единственный праздник — кулачный бой. «Давай бою-у-у!» раздаётся клич, и толпы людей, сплотившись, принимают расквашивать друг-другу носы. Малые дети (которых здесь целодневно истязают родители), только и слышат от взрослых, что о шпицрутенах, порках, экзекуциях, и, чтобы избежать этого сплошного мордобоя, этого кругового членовредительства, люди либо идут в монастырь, либо стреляются, либо сами начинают мордобойствовать... И не знаешь, чего здесь больше — озорства или отчаяния, хитрости или тоски, в этой обители Мелкого Беса¹, в царстве заборов и скуки, и вечных, неизбывных ворон, — ворон и галок, тех самых, что еще в «Слове о Полку Игореве» так

громко кричали, «трупия себе деляче» — «деля меж собою трупы» — и готовясь «полетети на уедие».

«Мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно жить на этом свете, господа» (*Гольд*).

Зевота, икота, отрыжка... Этот мокрый, иззябший распухший от дождя город, — уездный Окуров, Воргородской губернии, на берегах реки Путаницы — превосходно изображен нашим автором, — и ужаснее всего то, что это совсем не какой-нибудь один единственный каторжный выродок-город, это вся необъятная Русь. Горький недаром загодя заявил, что «губернских-то городов, считай, десятка четыре, а уездных тысячи, поди-ка. Тут тебе и Россия!.. Государство она бесспорно уездное!». Столичные города, по Горькому, это то же, что бобровая шапка на оборванном босяке. Стало быть, уездный Окуров есть наилучший образчик России, и те жалкие дикари-членовредители, о которых я только что говорил, суть типичнейшие наши соотечественники.

Чехов когда-то писал с дороги:

«Города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие... В России все города одинаковы».

Вот об этих-то «жителях», изготовляющих облака и скуку, и пишет теперь Горький, и так убедительно пишет, что, читая, хочется и самому крикнуть во весь голос:

— Караул!

Хочется молиться кому-то:

— Помоги! Пожалей!

Но кому же молиться? Только лощеные галки скачут с забора на забор, галки, да вороны, да воробьи, и снова галки, и снова вороны, —

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!²

II

Галки и воробьи? Вороны?!!!

Но, позвольте, а куда же девалась та прекрасная птичка, которая, помнится, нам всем очень нравилась? Куда же девался этот восхитительный буревестник? Вы помните буревестника: «Между тучами и морем гордо реет буревестник!» —

То волны крылом касаясь,
 То стрелой взлетая к тучам,
 Он кричит, и тучи слышат
 Радость в смелом крике птицы.

«В этом крике жажда бури»... Вот бы такого буревестника сюда! Или хотя бы сокола, помните сокола? — «и крикнул Сокол с тоской и болью:

О, если б в небо
 Хоть раз подняться!
 Врага прижал бы
 Я к ранам груди...
 И захлебнулся б
 Моей он кровью!
 О, счастье битвы!

О, смелый Сокол!.. Неужто Горький, который прежде, куда ни глянет, везде, бывало, видит этих очаровательных птиц, — целые стаи буревестников и соколов, — теперь нигде, ни на одном заборе Окуровском, ни на одной каланче не нашел хоть бы заваливающего какого соколенка! То-то было бы хорошо! Пусть бы услышали с высоких небес эти жалкие пакостники, мелкие душители и трусы гордую, могучую песню:

— Безумство храбрых, — вот мудрость жизни!

Пусть бы явился к этим заеденным клопами, рыгающим, икающим «мещанишкам» какой-нибудь великолепный этакий Чудра, Коновалов, Челкаш, вдохновенный пропойца, в восхитительных босяцких лохмотьях, без шапки, с разорванным воротом, со сверкающим взором, похожий на ястреба, и крикнул бы громко:

— О, гниды! Скушно с вами, черти лиловые!

А потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги! «Пусть все скачет к черту на кулички!»

«Оргиазм борьбы», «наслаждение собственной гибелью», помните, помните? «раздробить бы всю землю в пыль», а, потом «сгореть в одном порыве», — и какое тебе дело до ворон и до галок, до того, что в каких-то темных домишках темные мещане с утра до ночи уныло колотят друг друга?

Куда же, куда девался этот восхитительный буревестник?

III

В том-то и дело, что здесь, в этом постылом Окурове, нашелся-таки буревестник, и не какой-нибудь, а самый настоящий —

и что же? — может быть, я ослышался? — Горький не возопил перед ним, как бывало:

— Осанна!

а замахал руками и крикнул:

— Кыш, проклятая птица!

Изловчился, поймал этого «гордого демона» да об пень его головой: вот тебе, вот тебе! И растрепал его перья по ветру, и, мертвого, растоптал ногами, — ах, он так зол теперь на всех этих соколов и буревестников, и я думаю, с восторгом он сжег бы свои первые книги, где эти соколы и буревестники прославлялись!

— И зачем я эти книги писал? — кается он теперь, глядя на ту полку, где у него «Фома Гордеев», «Песня о Соколе», «Челкаш», — и в покаянном порыве пишет теперь статью «Разложение личности», где горячо осуждает своих бывлых буревестников, усматривая в них «нигилистический индивидуализм», слишком выпяченную «самость» и «ячность». И называя теперь их «оргазм борьбы» — истерикой, а их бунт — хулиганством, он тем самым резко и едко (и, пожалуй, несправедливо) клеймит свою недавнюю деятельность, которая когда-то, пред революцией, привлекала к нему столько сердец.

Правда, о себе он там ни слова не говорит, но так яростно бичует других провозвестников буревестников, других апологетов «ячности» и «самости», что, естественно, его бичевание превращается в самобичевание, и все его проклятия и угрозы падают на него самого, как на автора «Макара Чудры», «Старухи Изергиль» и др.

Но такого самобичевания ему показалось мало, и вот он написал «Городок Окуров».

В этой повести он снова «по примеру прежних лет» вывел своего любимого героя, «горьковского босяка», но вывел его уже не затем, чтобы прославить, а затем, чтобы публично ошельмовать.

Этот новый горьковский герой — всем босякам босяк. Он, так сказать, квинтэссенция прочих горьковских босяков: красив, как Махин; силен, как Челкаш; удал, как Алешка (из пьесы «На дне»), и так же страстно, наивно влюблен в себя, как тот восхитительный циник и эгоист Шакро, о котором Горький восторженно писал в первом томе своих «Рассказов». Кроме того, он так же тоскует и так же стонет, как и другой богатырь босячества — купеческий сын Фома Гордеев. У него, как и у всякого русского ушкуйника, — «ноет душа», «простора ей мало».

«Вот, — говорит он, — тридцать годов мне, сила есть у меня, а места я себе не нахожу такого, где бы душа не ныла».

Словом, босяк усугубленный, совместивший в себе все любезные Горькому черты. Зовут его Вавило Бурмистров. Его «я» выпячено у него вперед необычайно, и Горький этого ему теперь ни за что не простит. Вавило весь с головы до ног отравлен «ядом самости и ячности», «нигилистическим индивидуализмом» и смотрите, например, как ему дорого звание первого на всю слободу бойца. За это звание он часто платит боками и кровью. Когда однажды ему удалось встать перед толпою на стол, — он почувствовал сатанинскую гордость:

— Они меня — ниже! На земле они — пойми ты, а я поднял ся уж! Над ними я!

Пред этим Вавилой Горький так недавно преклонял колени, взывая:

— Учитель! Учи меня, как надо жить!

Но теперь не то. Горький взял своего бывшего учителя за шиворот и стал его всенародно обличать.

— Вот человек без стержня, — сказал он. — Человек, «ни к чему не прилепленный», «без твердой земли под собою». Все в нем есть, а «все смешано, переболтано». Он «лишен социальных чувств», «не ощущает никакой связи с миром». Он вечно колеблется на границе безумия. Истинное ему имя — хулиган. Он прямое порождение этого подлого, безнадежного Окурова, этих унылых, убого-жестоких меццан. Сокол из породы Ужей.

Прежде Горькому очень нравилось, когда на сцену врывался этакий Вавило, душа нараспашку и под хлопки галерки выкрикивал:

— Ничего я не желаю! Ничего я не хочу! На, возьми меня за рубль двадцать. Кто я? Пылинка! Лист осенний!

Теперь же Горький с грустью и негодованием показывает нам, как этот буревестник («черной молнии подобный») идет в участок и доносит на своего же товарища. Вы думаете, он доносчик? Нисколько. Ибо потом он идет к товарищу — и кается перед ним: я на тебя донес.

Потом ни с того, ни с сего убивает другого товарища. Вы думаете, он его ненавидел? Нисколько. — «Жалко его, — говорит он про убитого. — Он был ничего, не вредный, как все»...

В революцию этот «человек без стержня» тоже вносит одну только удадь, один только размах беспшашной души, а сам каждую минуту готов изменить, предать, перебежать к неприятелю, за минуту не зная, будет ли он героем или грабителем,

и с кем он будет сражаться, и за кого, — и вот полюбуйтеесь на этого Чудру под священным знаменем революции.

— Конечно, глупость одна эти бунты... ну, а я бы все-таки побунтовался — эх! — восклицает он. — Я бы показал себя.

Он идет в революцию, чтобы *себя показать!* — (несчастный! — и я мог столько лет носиться с ним, как с писанной торбой! — ужасается Горький).

Но дальше:

«Народ! — ревет этот Чудра. — Слушай, вот — я. Дай мне — моей совести — ходу!»

(Опять «я», «меня», «мне», снова «самость» и «ячность», — возмущается автор своим недавним кумиром.) А потом пошел к проститутке, у которой был на содержании, и укукошил у нее своего приятеля.

«Вот тебе и свобода! Это, что ли, свобода?» — восклицает другой босьяк, и никто не знает, что же делать с этой свободой:

«Нет, чего делать будем со свободой, — вот где гвозды! Павлуша Стрельцов — он рад: заведу, говорит, себе разные пачпорта и буду один месяц по дворянскому пачпорту, другой по купеческому».

Вот так буревестники! Но слушайте дальше. Жалка революция, которую «делают» такие герои, и вся новая повесть Горького направлена на обличение окурковской революции, — не народной, а хулигано-мещанской. Оговорив товарища и налгав на покойника, Вавила вышел из части на свободу. Столкнувшись случайно с черной сотней, он, неожиданно для самого себя, встал у нее во главе, «никогда еще не чувствуя себя героем так полно и сильно, как именно теперь». Словно некий Гапон, он пошел на своих же товарищей, на однокашников, — все время крича:

— И вот, я говорю, я, я, я!

Изменник, убийца, дурак, человек без стержня и без почвы — так определяет Горький своего вчерашнего буревестника.

— Значит, вы изменили свои взгляды? — спросил некто у Горького.

— Да, я не совсем так смотрю на вещи теперь, как смотрел тогда, — ответил он. — Может быть, это даже не эволюция взглядов, потому что эволюция предполагает путь без скачков и пробелов, а здесь найдется и это. Но что делать, — мы живем*.

* См.: «Образование». 1908. VI. Статья А. А. Измайлова.

А г. Луначарский, посмотрев, как Горький «сжигает» то, чему поклонялся, и поклоняется тому, что «сжигал», восторженно (и ничуть не в «Сатириконе»!) возгласил, — слово в слово:

«— С одной высокой горы, где он (Горький) был соседом с Ницше, он перешагнул прямо на другую, где стал соседом Маркса».

Бессмертный Кузьма Прутков, это ты!

IV

Великолепно рисует Горький всю эту трагикомическую, мешано-босаяцкую, окуровскую революцию, которая зародилась в доме терпимости и вылилась в нелепый бунт «против образованных», против «немцев», в битье стекол, в побоище, — и своим «Матвеем Кожемякиным» он очень ясно показывает, что иною революция и быть не могла среди этих обглоданных нуждою, забытых и побитых людей, и таким образом, его новая повесть восстает не только против буревестников, но и против той бури, которую предвещали буревестники, (из них же первым был он), против *великой всероссийской революции*.

И не только восстает, но и наглядно и отчетливо обнаруживает пред нами причину всех этих окуровских зол и катастроф.

Она все та же, одна-единственная: индивидуализм, «самость», «ячность» — назовите ее, как хотите.

Отчего не удалась окуровская революция? Оттого, что в Окурове «привыкли жить и думать одиноко». Оттого, что все смотрели друг на друга, «как псы на волка», оттого, что «все были полны страха быть обманутыми, и каждый хотел обмануть». Оттого, что «никто никого не жалел — зверье зверьем». Все были «как чужие птицы в курятнике».

Оттого, одним словом, что обитавшие в Окурове горьковские Соколы были преисполнены соколиного индивидуализма, а обитавшие там горьковские Ужи индивидуализма ужиного.

Других в Окурове (читай: в России) жителей не было: только Соколы и только Ужи, — стало быть, весь Окуров населен сверху донизу индивидуалистами, и гибель его неминуема.

Ибо ныне, по Горькому, если есть на свете какое-нибудь зло, какое-нибудь несчастье, мерзость, пагуба — все от этого самого, от ненавистного ему индивидуализма, который некогда был для него *единственным* (единственным!) в мире благом.

В статье «Разрушение личности» он спрашивает:

— Почему в русских купеческих семьях так много психических заболеваний?

И отвечает:

— Из-за индивидуализма (с. 368).

— А почему не удались интеллигентские колонии?

— Из-за индивидуализма (с. 381).

— А почему разлагается современное государство?

— Из-за индивидуализма (с. 370).

И так дальше, и так дальше — очень подробно, убедительно. Прежний источник универсального счастья оказался источником универсального зла.

Все же хорошее, что только есть на свете, заключается теперь в преодолении индивидуализма, — и все афоризмы новой повести (без афоризмов Горький не может) только об этом и говорят.

— Один человек не житель!

— Рыба и та стаями ходит!

— Се что добро и что красно, но еже жити братии вкупе.

— Устойчивую веру в человеческий разум... дает только приращение к великой жизни мира.

Видит ли Горький теперь книгу, он спрашивает: чем хороши книги? И отвечает: тем, что они есть как бы *всемирная* беда людей, тем, что они нарушают индивидуализм (с. 54).

— Чем хороша грамота?

— «Тем, что она *сопрягает* человека с человеками, сиречь: приобщает его миру» — т. е. нарушает индивидуализм.

— Чем хороша брачная жизнь?

— Тем, что она есть духовное слияние двух людей, для ради совокупного одоления трудностей житейских, — т. е. нарушает индивидуализм и т. д., и т. д., и т. д.

Отречься от Макара Чудры, так уж отречься. Каяться, так каяться до конца.

V

Все это так, но я отодвигаю книгу и думаю о нем самом, о писателе. У него всегда такой большой захват, ему ничего не стоит пустить к себе на страницы двадцать, тридцать, пятьдесят человек, наляпать множество лиц, набрызгать множество образов, — все пестро, легко, непринужденно, — и что за беда, если потом, взглядевшись, вы увидите, что все эти образы и все

эти люди маршируют по его команде — и хвалят индивидуализм, когда автор индивидуалист; и хвалят коллективизм, когда он коллективист; это все в порядке вещей, все это так и должно быть, но одного я понять не могу: почему же у Горького никогда не бывает *сразу нескольких идей* в голове, почему же в каждую данную минуту у него только одна идея, очень хорошая, но только одна? — и не то всегда меня в нем огорчало, что он имеет *эту* идею, а то, что он не имеет других. Это я считаю основным и главнейшим его грехом. Не потому ли Горький так много и пишет, так много проповедует, так браво и лихо решает все вопросы, так легко устраняет все сомнения, что, одержимый одной идеей, ощущая всегда эту одну идею, как некую схему всеобщего блаженства, он не видит и не знает действительности, — и что хуже всего, он никогда не видит и не знает (из-за этой своей идеи) живой и дышащей души человеческой.

Да и когда же ему было заметить ее? Прежде он славил отвлеченную личность, теперь он славит отвлеченный коллектив, и ни прежде, ни теперь в его схемах нет места для живого, подлинного, конкретного человека.

Вы помните прежнего Горького? Пусть бы тогда мимо него прошли Анна Каренина, Китти, Долли, Наташа — все такие разные, отдельные, неповторяемые души, он бы и не заметил ни одной, и не различил бы, они все были бы для него как сплошное пятно, он бы только дознался: сильна ли в них личность или нет, — если сильна, то да здравствуют! если слаба, то да сгинут! — такая уж у него была «идея», отвлеченная идея об отвлеченной душе, и, одержимый этой идеей, фетишист идеи, он приспособлял к ней всех своих Зобаров, Челкашей, и Данко, и Радду, и Ларру, и Мальву.

Теперь он славит сплоченную человеческую толпу, теперь ему и Бог велел не видеть отдельных человеческих лиц, отдельных душ человеческих, — одно сплошное пятно.

«Раньше, когда я о народе не думал, — говорит он устами своего героя, — то и людей не замечал. А теперь смотрю на них и все хочу разнообразие открыть, чтобы каждый предо мною отдельно стоял».

Но нет для него «разнообразия», нет отдельных душ, отдельных жизней, — и Горький без конца готов теперь доказывать, что у отдельных личностей не может быть

ни Бога,
ни творчества,
ни свободы,

не может быть ничего *, — и ему, фанатику новой идеи, теперь (как, впрочем, и прежде) не жаль никакой личности, не жаль вот этого отдельного человека, и пускай этот человек, — вот с таким-то голосом и такими-то руками — сейчас же провалится в тартарары, для Горького это все равно — лишь бы цвело и тучнело целое, лишь бы торжествовал его идол — коллектив.

И недавно сама природа сделала опыт над Горьким: провалила-таки в преисподнюю тысячи отдельных, конкретных личностей, — испугала весь мир мессинским землетрясением. Но наш фанатик коллектива и бровью не повел: мессинское землетрясение? Что ж такое? Погибли отдельные люди? Не беда. «Печаль бесполезна, и слезы не нужны». Зато как все сплотились, как сгрудились!.. — и пошла обычная его декламация:

...Гнетущее душу впечатление трагедии, разрушения и смерти невольно тает, исчезает, при виде этой могучей картины жизни, полной в сей день глубоким чувством братского единения всех со всеми, жизни, которая образно и ярко говорит о возможности в будущем великих дней, годов и веков соединенного, дружного строительства «новых форм бытия» и т. д., и т. д., и т. д.

Пожалуй, даже и хорошо, что в Мессине было землетрясение: Горький мог увидеть торжество коллектива!

Когда у Толстого читаешь, как гибнет одна только душа, Андрей Болконский, сердце останавливается, нет сил читать дальше, — нет, нет, не надо! — испытываешь личное горе, и горе это во сколько раз больше, чем когда читаешь у Горького о гибели тысяч человек. Его декламации над этими горами трупов не кажутся ли кощунством?

Но нет, это не кощунство. Это просто дальтонизм, своеобразная слепота. Иные не видят зеленого и синего (кажется!) цвета, а Горький не видит, не способен видеть — человеческую душу. Все видит, а души не видит. И не потому ли в его произведениях всегда так много образов, так много идей, так много проповедей, так много афоризмов, но совсем нет никакой «психологии». О, какая странная слепота!

В его «Жизни ненужного человека» описан деревенский пожар. Что может быть ужаснее таких пожаров! И если бы Горький видел, знал, любил, «жалел», ну просто по душе, не из принципа, хоть одного погорельца, хоть одного отдельного человека, он воздержался бы хоть здесь от патетических декламаций. Но Горькому и здесь что за дело до единиц, было бы

* См. в «Исповеди» с. 172, 174, 179.

торжество «коллектива», торжество сплоченной толпы. И так как здесь толпа, действительно, сплотилась, то Горький и здесь стал в позу и заскандировал:

— Было приятно и весело (это на пожаре!) смотреть на эту хорошую, дружную жизнь в борьбе с огнем... Все подбодряли друг друга и хвалили за ловкость, силу и т.д... при огне все увидели друг друга хорошими... и все было хорошо, как во сне (с. 11).

Да сгинет человек и да здравствуют пожары!

Это странно, что Горький, вышедший из живой жизни, больше всего полюбил формулу, догму, «идею», доктрину, раньше одну, а потом другую, но непременно доктрину, сделал из нее фетиш и стучит перед нею лбом, ничего не видя и не слыша. Странно, что такой догматический ум мог создаться на свежем воздухе, под открытым небом! И до чего Горький доходит в формализме своего мышления, мы уже видели из его недавней повести «Лето». Только что вслед за летом пришла осень, — и полиция рассажала по тюрьмам лучших людей деревни, и измученный стражник убил гулящую девку и застрелился сам, как Горький, словно в насмешку над этими бедами и смертями, воскликнул:

— С праздником, великий русский народ!

С каким праздником? Да все с тем же рождением коллективизма. Горький во всех этих напастях подметил почему-то торжество сплоченных человеческих сил, и вот уже ему нет дела ни до каких смертей и несчастий, он заведет свое:

— Гром победы раздавайся!

Я сравнил бы Горького с генералом Пфулем, — помните, — из «Войны и мира». Вы помните: «Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике; он из любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел».

О, Горький есть теоретичнейший Пфуль во всей нашей русской словесности! Была бы жива его абстракция, его фантастический коллективизм, что ему за дело до конкретных личностей, до всякой конкретности вообще.

И таким Горький был всегда. Вспомните его прежние книги. Варенька Олесова могла быть сколько угодно глупа, Челкаш мог быть вором, князь Шахро мог быть мелким паразитом, — но Горькому какое дело до этого: были бы они индивидуалисты, и он пропоет им осанну!

Теперь то же с коллективизмом. За коллективом может скрываться смерть, гибель, стихийное бедствие, зло, Горькому

все равно: был бы коллектив! Да здоровствует коллектив. Ну, как же не Пфуль?

VI

Но что всего замечательнее, Горький даже и не подозревает о такой своей слепоте. Чаще всего и охотнее льнет он именно к изображению человеческих душ.

И странной, какой-то, и не живой выходит у него каждая душа. Должно быть, слепорожденному именно так представляются разные краски и цвета.

По Горькому выходит, будто душа — это какая-то коробочка. Раскрой ее, — а там лежит «идея», в каждой коробочке своя. И вот Горький ходит промежду людей, и раскрывает то одну коробочку, то другую, — десять, двадцать, тридцать коробочек, — из каждой достает ее идею, показывает публике, а коробочку выбрасывает прочь.

— Господин, вы что-то обронили!

— Нет, это так, пустяки, пустая коробка.

А «пустая коробка» — и есть душа. Но для Горького она ни к чему. Сам заеденный догмами и формулами, он только формулы и догмы и ценит в других, только их и подмечает. — «Я не паспорта ваши, а мысли видеть пришел», — говорит один его герой. И еще: — «Я и этого забавника начал раскрывать, надо мне понять все пружины», — т. е. все «идеи», все формулы, какими «движется человек», — а человек формулами и не движется. И обыкновенно у Горького это делается очень легко. Не успеет он подойти к человеку, а тот ему всю свою формулу и выложит. Прочитайте, напр<имер>, его «Исповедь». Горький залюбопытствовал, в чем религия каждого из нас, и вот замелькали пред нами до полсотни человек, и каждый со второго же слова:

— Вот в чем моя религия!

Я помню, очень этому удивлялся. Оказалось, что для какой-то Февронии Бог — добрый барин, для какого-то Гриши, напротив, Бог — сеятель бед, для Михи Бог — грешник, для какого-то лекаря Бог — лекарь, а какой-то деревенский Власий имеет такую формулу:

— Я сам — Бог! Да! (с. 20).

А у какого-то Антония формула религии такая:

— Я, как и ты, Матвей, не вижу Бога.

И какая-то монастырская блудница точно так же формулирует себя:

— Бога не вижу, и людей не люблю.

Формулы, формулы! Какой-то казак отметил, что у рабов не бывает Бога, и то же отметил (как формулу, как догму!) какой-то Михайла (с. 128, 174), а Горький раскрывал все эти коробочки, вынимал из каждой нужную ему пилюлю, и каждую выбрасывал прочь. Пока, наконец, в одной из коробочек не оказалось:

— «Народушко бессмертный» — «сей бо еси Бог, творяй чудеса» (с. 148).

Довольно, — сказал Горький. — Эта формула как раз по мне. Народушко — ведь это и есть коллектив, «его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни единое и несомненное» — и пошла обычная декламация. Пфуль заговорил о своем.

Коробочка с идеей — странное представление о душе. Мы живем не формулами, а жизнью, наши идеи не в наших словах, а в нашей походке, и в наших жестах, и в нашей прическе, — это так изумительно обнаружила литература русская. И религия наша вовсе не в том, что мы в любую минуту можем сказать всякому встречному и поперечному:

— Мой Бог это то-то!

— А мой Бог это то-то!

Наша религия в каком-то невысказываемом, но для всякого ощутимом пафосе всего нашего существа, нашей личности, и воистину нужно быть безнадежным Пфулем, чтобы во всякой душе отыскать свою специальную доктрину, свою специальную теорию о Боге. И не только о Боге, а решительно обо всем у каждого горьковского персонажа есть своя специальная доктрина, своя формула, свой афоризм. Иначе как сентенциями люди у него почти не объясняются. А ведь за каждой сентенцией непременно скрыта теория, это, так сказать, экстракт теории. Уж не кажутся ли г. Горькому и все прочие люди тоже отчасти Пфулями. Так и мелькает у него на страницах:

— Лучше бы человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе.

— Не то важно, как люди на тебя смотрят, а то, как ты сам видишь их.

— На гору идешь, до вершины иди; падаешь, падай до дна пропасти.

Деревенский кулак говорит у него: «Никогда ни вершка не уступай людям», а деревенский праведник говорит: «Сохраняй в душе детское свое на всю жизнь, ибо в нем истина». У каждо-

го идея наружу, как вывеска на лабазе, вся идея в двух или трех готовых словах, и если судить, напр<имер>, по «Лету», то современная деревня до края насыщена идеями, и лишь одна там без идей — сивая кобыла стражника Лядова, да и та в конце, мне кажется, околела. Идеи и вопросы. По Горькому выходит, что все духовные вопросы и запросы в готовом виде, препарированные и засушенные, находятся у каждого из нас в кармане, — и мы в каждую данную минуту можем будто бы точно и отчетливо сказать, о чем томится, чего жаждет — без слов, без формул — наша душа. Бедный Пфуль! Вы помните чеховский рассказ «Скрипка Ротшильда»? О чем тосковал, о чем спрашивал этот умильный, жалкий гробовщик? У него есть какой-то вопрос, но пусть Горький попробует, формулирует своими бойкими и меткими словами и прибаутками — в чем этот вопрос заключается. Не сумеет, потому, что здесь живая душа, а не формула. Или о чем тоскует, о чем спрашивает у Бога, у всего мира — Федор Юрасов в превосходном андреевском рассказе «Вор»? И так спрашиваем мы все, большие и малые, — и русская литература лучше других услышала и заметила эти вопросы. По Горькому же выходит так: шатаются по какому-нибудь Заречью мещане и мужики и друг у друга громко и определительно спрашивают:

«Как это понять — Россия?» — «Что такое Бог?» — «Какая другая жизнь?» — «Какое нам место отведено на земле государевой?» — «Где нам дорога?» — «Где нам жизнь?», и т. д.

Горький даже слово такое изобрел «вопросники», — и вопросительных знаков в его книгах — больше всего. Даже сыщик с «вялым», как он сам говорит, мозгом, и тот нет-нет да и задаст кому-нибудь (в участке!) два-три мировых вопроса. И что всего превосходнее — у Горького в кармане на все эти вопросы имеется ответ (портативный! универсальный! лечит все болезни! открывает все двери! разрешает все вопросы!), и ответ этот, как я уже указывал: коллектив! — но этот ответ мог бы быть и какой-нибудь другой, лишь бы непременно универсальный, лишь бы догма и отвлеченность, — такова уж у Горького натура.

VII

Но нужно признать, что в Горьком не сразу и пометишь такой душевный изъян, и это потому, что — огромный декоративный талант, — он всегда умел самыми яркими заплатками прикрывать все свои прорехи.

И все же возьмите, напр<имер>, его «Исповедь». Проследите, как описывает он там всякую душевную духовную жизнь. Не поразит ли вас одна очень странная черточка? Вот он сказал, что у кого-то «мысли были, как старые богомолки». А у кого-то еще — «как хохлы утром на ярмарке». Еще у кого-то мысли были, по выражению Горького, подобны змеям, а иногда и летучим мышам, у кого-то еще были мысли, как пчелы, — «как испуганный рой пчел».

А у какого-то деревенского парня «в голове было, как в новой квартире», — «привезено почти все уже, а все не на своем месте, ходит человек между вещей и стучается об них то лбом, то коленкой».

Если всмотреться, Горький иначе и не умеет передать вам духовную жизнь: всегда у него уподобления. «Я в душе моей всякий древний бурьян без успеха полел», — такая фраза обычна у него. В его «Исповеди» то и дело читаешь:

«Наблюдил в *душе*, как козел».

«В *душе* у них, как в печной трубе, черно».

«Как плугом вспахал *душу* мне».

«Словно больной зуб в *душе* моей пошатывает».

В душе — бурьян, в душе — зубы, в душе — козлы, хохлы, богомолки, все это, может быть, и поэтично, но до чего такое овеществление души человеческой отдаляет, отчуждает ее от нас. Представьте себе, что Толстой сказал бы как-нибудь про Анну Каренину: «Мысли ее были как тараканы за печкой» или: «В душе у нее молотили овес», — и представить себе не можете! именно потому, что вы так необычайно осязаете, ощущаете эту душу, что она вам так близка во всей своей сложности и своей духовности, — какие же здесь тараканы и козлы! Она для вас не посторонняя вещь, не предмет, который со стороны может показаться то щепкой, то тряпкой, а огромный, поразительный, сложнейший мир ощущений, движений, помыслов, — которые одним метким словечком закрепить нельзя, про которые нельзя сказать, — как без конца говорит Горький:

«Костер мыслей».

«Черви горя и страха».

«Горло истины».

«Лицо души».

И не потому, что это будет дурного тона риторика («Бог с ним, с тоном!»), а потому, что это будет клевета на человеческую душу, упрощение сложного, обеднение богатого. Для Горького же всякая «психология» — пустяки. Раз, два, три — вот и

психология! Величайшие из художников как трудились, например, над темой: перерождение, возрождение человека, и сколько из них изнемогли! Сам Толстой, когда дошло до перерождения Нехлюдова, оказался почти бессилён. Даже у Чехова в «Дуэли» перерождение Лаевского — самое слабое место. Потому что ощущали эти люди всю сложность, всю огромность такого душевного события. Для Горького же никаких трудностей, — раз, два, три! — человек у него переродился.

«Роковой для меня поворот», — заявил у него Матвей (в «Исповеди»), и готово!

«... Остановил меня человек, на всю жизнь окрыливший душу мою, указав мне верный к Богу путь» (с. 138).

Вот и все перерождение! Чего же вам больше! И при этом само собой:

«...Слова его касались души моей огненным *перстом*, и чувствовал я жгучие, но целебные *ожоги и уколы*».

«...Горят в груди моей разные *огни*...»

«Перст», «огни», «ожоги», «уколы» — внешние, формальные слова, не перерождение души, а только фразы о перерождении души, — о, Горькому легко изображать психологию, как легко глухому петь, а слепорожденному рисовать: он даже не знает, в чем здесь трудность. Для его доктринерского таланта всякое проникновение в душу было бы только помехой. Какое бы это было истинное несчастье для Пфуля, для педанта, если бы он вдруг *понял* человека, если бы он вдруг хоть на мгновение заметил, что вот есть нечто такое, пред чем самая лучшая теория, самая лучшая «диспозиция» ничто, — да он растерялся бы, он бы, может быть, и жить отказался без теории — нет, пускай себе стоит на эстраде и закрыв глаза декламирует:

«В душе моей тихий поземок *пожар*, выгорает душа, как лесная поляна!» (с. 189).

«Мысль моя вспыхнет, да и вылетит *искрой* в глаз кому-нибудь» (с. 130).

«...*Горячее облако мысли*...»

«...*Огонь безмолвных дум*...»

«...*Пепел слов*».

Не психология, а пиротехника какая-то, но Горькому что же и нужно, — хоть этим бы прикрыть свой зловецкий изъян...

* * *

«Городок Окуров» хорош уж тем, что там ничего подобного нету. Вообще, это лучшее произведение Горького. Люди там

почти не говорят афоризмами и в душах у них ни «козлов», ни «хохлов». Спокойно и уверенно, без декламации, меткими и едкими словами разоблачает Горький — Всероссийскую Революцию. Как будто с высокой какой-то каланчи оглядел он всю Русь, все ее города и веси, и с тоскою, у него небывалой, с угрюмым почти отчаянием сказал чуть не всем русским людям:

— У, гниды.

И весь его пфулизм, все его доктринерство здесь меркнет (впервые) пред лицом настоящего пафоса.

